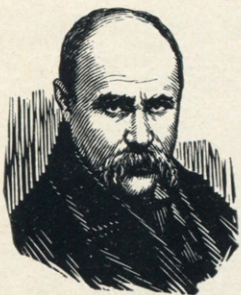


М. Гыльский

„КОБЗАРЬ“

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО





Читатель найдет в этой книге много острых, свежих наблюдений и раздумий о поэзии Тараса Шевченко.

Максим Рыльский рассказывает о творчестве великого кобзаря, и со страниц небольшой книги веет ароматом шевченковской поэзии, проникнутой горячей любовью к родному народу и мечтой о его грядущих судьбах.

М. Гильский

„КОБЗАРЬ“

**ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО**



М.Гыльский

„КОБЗАРЬ“

**ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО**



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1964

8С (укр.)

Р-95

Х у д о ж н и к
Л. С У Ш И Л И Н А

Начало новой украинской литературы связывают с именами поэта и драматурга И. П. Котляревского и прозаика Г. Ф. Квитки-Основьяненко, истоки ее видят в рукописной литературе XVII—XVIII веков, в казацких летописях и, разумеется, в прекрасном словесном творчестве украинского народа. Однако на подлинную свою высоту, как самобытное культурное явление, поднялась и обрела полный голос украинская литература с появлением в ней Тараса Шевченко.

В 1840 году в Петербурге вышла книжка на украинском языке, состоявшая всего из восьми стихотворений, под заглавием «Кобзарь». Автором ее был молодой художник, недавний крепостной, ученик знаменитого Карла Брюллова — Тарас Шевченко. Русские художники и писатели, позаботившиеся о выкупе Шевченко из кре-

постной зависимости, видели в нем прежде всего талантливое художника и считали изобразительное искусство его прямой дорогой, его основной профессией. Сам Шевченко, вспоминая впоследствии о пребывании в мастерской Брюллова, писал в своем «Дневнике»:

«...Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных Гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой степи надднепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непорочной меланхолической красоте своей... И я задумывался: я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание — и ничего больше.

Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гро-

ша не заплатил, и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю... Право, странное это неугомонное призвание»¹.

Говоря о «всемогущем бесчеловечном запрещении», Шевченко имел в виду знаменитую приписку Николая I на «всеподданнейшем» докладе шефа жандармов Орлова, сообщавшего императору об участниках Кирилло-Мефодиевского братства и предлагавшего по отношению к ним различные меры наказания. О Шевченко Орлов писал:

«Художника Шевченко за сочинение возмутительных (т. е. призывавших к возмущению, к бунту, к революции.— *М. Р.*) и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

Царь утвердил предложение шефа жандармов и, выражаясь верноподданническим языком того времени, «собственноручно начертать изволил»: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».

¹ Т. Шевченко, Дневник, Гослитиздат, М. 1954, стр. 65.

Вот какое «бесчеловечное запрещение» имел в виду поэт. Однако, обладая не только «крепким телосложением», но и несокрушимой силой духа, он продолжал и в ссылке «кропать» стихи, не оставляя — иногда при «попустительстве» некоторых из ближайших начальников — и кистей да карандашей художника.

Писал Шевченко процитированные выше строки в последний год своей ссылки, не без оснований надеясь на скорое освобождение. Он был тогда вполне зрелым мастером слова, безусловно достойным той лучезарной славы, которой окружено было его имя на Украине и во всей передовой России. И, разумеется, он понимал прекрасно, что пламенное его слово было великим делом его жизни. Это отчетливо видно хотя бы из написанного им во время возвращения из ссылки, в Нижнем Новгороде *в один день* — 9 февраля ст. ст. 1858 г. — триптиха, который состоит из стихотворений «Доля», «Муза» и «Слава». Во втором из названных стихотворений поэт так обращался «к молодой подруге Феба»:

И я живу, и надо мною
Своею божьей красотой
Сияешь ты, звезда моя,
Моя наставница святая!

(Перев. М. Рыльского)

Сознавал, значит, ясно видел Шевченко, что его звезда, его *наставница* — «муза», что

его истинный,— тернистый, тяжелый, мучительный, да, но и прекрасный,— путь — это путь поэта. Нельзя, стало быть, не слышать в приведенном отрывке из «Дневника» и нот горькой иронии...

Шевченко был высокодаровитым, первоклассным художником—акварелистом, рисовальщиком, гравером, живописцем. Но в историю мировой культуры вошел он как поэт. Название первого стихотворного сборника его, в котором, однако, обозначались уже все основные творческие черты автора, было очень счастливо найдено. Кобзарями, как известно, назывались (и называются) на Украине народные певцы, исполняющие свои песни и думы под аккомпанемент струнного инструмента — кобзы. Названием этим автор подчеркнул свою кровную связь с народом, с народным творчеством,—связь, которой он остался верен до конца жизни.

1840 годом, годом появления «Кобзаря», датируем мы начало зрелости и расцвета новой украинской литературы. Литература эта в лице лучших своих представителей — Марка Вовчка, Панаса Мирного, Ивана Франко, Леси Украинки, Коцюбинского, Карпенко-Карого, Стефаника, Грабовского и многих других — продолжает и творчески развивает идейные и художественные традиции Шевченко. Эти традиции дали обильные плоды в советской украинской литературе.

А все стихотворное наследие Шевченко, являющееся венцом его многостороннего литературного творчества¹, донныне по традиции издается под названием первой его книги — «Кобзарь». Слово *кобзарь* употребляется также и в применении к самому поэту. Мы говорим: «наш великий Кобзарь». Это означает: «наш великий поэт».

¹ Шевченко много писал и в прозе (повести на русском языке, замечательный дневник), оставил нам также доселе идущую на сцене драму «Назар Стодоля», отрывки из драмы «Никита Гайдай» и т. д.—
М. Р.

I

Самое употребительное и распространенное определение Тараса Шевченко — народный поэт. Стоит, однако, подумать над тем, что вкладывается в эту формулу. «Совершенно народным писателем» назвал Шевченко Герцен. Часто цитируются слова Добролюбова: «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, напротив, весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан»¹. Плеханов убежденно писал:

¹ Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в трех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1952, стр. 536.

«...покойный Тарас Григорьевич принадлежит к числу самых крупных народных поэтов, каких только знает всемирная история литературы»¹.

Горький в одной из своих каприйских лекций по литературе заявил о Шевченко: «...он заслуживает высокой оценки... как первый и воистину народный поэт, не искажавший субъективными добавлениями народных дум и чувств»².

К этим определениям в общем можно решительно присоединиться, поскольку речь в них идет о кровной и неразрывной связи поэта с народом. Однако в определении Горького есть место, которое настораживает читателя. Что значит «поэт, не искажавший субъективными добавлениями народных дум и чувств»? Поэт без своей индивидуальности, без своего лица, без своего мировоззрения и вытекающего из этого мировоззрения стиля? Если так понимать данные слова Горького, то с ними трудно согласиться. Шевченко, наоборот, обладал очень яркой творческой индивидуальностью, и глубокую субъективность его автобиографической лирики подчеркивал еще Франко. Но, конечно, формулу Горького «воистину народный

¹ Г. В. Плеханов, Литература и эстетика, т. 2, Гослитиздат, М. 1958, стр. 210.

² М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, М. 1939, стр. 189.

поэт» мы принимаем с необходимыми уточнениями.

Были люди, которые считали Шевченко только слагателем песен в народном духе, случайно вразумленным книжному искусству, а потому ставшим известным по имени продолжателем безымянных народных певцов. Для этого несомненно одностороннего взгляда были свои основания. Шевченко вырос в народной песенной стихии, хотя, заметим, и очень рано был оторван от нее. Не только из его стихотворного наследия, но и из писанных по-русски повестей и дневника и из многочисленных свидетельств современников мы видим, что поэт превосходно знал родной фольклор. Очень музыкальный по природе, он помнил множество песен и прекрасно исполнял их. О восторженном отношении поэта к народному творчеству свидетельствует такое место в одной из его повестей:

«Недавно кто-то печатно сравнивал наши, то есть малороссийские исторические думы с рапсодиями Хиосского слепца, протца эпической поэзии, а я смеялся такому высокомерному сравнению. А теперь как разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал, разумеется, в переводе Гнедича и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, например,

дума «Иван Коновченко», «Савва Чалый», «Алексей Попович пирятинский», или «Побег трех братьев из Азова», или «Самойло Кишка», или — да их и не перечтешь. И все они так возвышенно просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец Хиосский да послушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца-кобзаря или лирника, то разбил бы вдребезги свое лукошко, называемое лирой, и поступил в *михоноши* к самому бедному нашему лирнику, назвавши себя публично старым дурнем»¹.

Это, разумеется, так сказать, патристическое преувеличение, высказанное к тому же в полушутливом тоне. Но любопытно сопоставить с этой восторженной тирадой такое высказывание А. В. Луначарского в его реферате, посвященном Т. Г. Шевченко:

«Украинская музыка и поэзия — самая пышная и ароматная ветвь на древе мирового народного творчества».

И ниже: «На плодотворной почве этого безыменного украинского народного творчества, как одинокий, но несравненный по мощи и красоте дуб, вырос поэт Тарас Шевченко»².

¹ Т. Г. Шевченко, Прогулка с удовольствием и не без морали, Собр. соч. в пяти томах, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 290.

² А. В. Луначарский, Статьи о литературе, М. 1957, стр. 420.

Шевченко в своей творческой практике нередко прибегал к народной песенной форме, подчас целиком сберегая ее и даже вкрапляя в свои стихи целые строки и целые строфы из песен. Слово *стилизация*, которому не всегда справедливо придают отрицательный, чуть не бранный оттенок, здесь неприменимо. Шевченко *иногда* — подчеркиваем это слово — чувствовал себя действительно народным певцом-импровизатором. Стихотворение его «Ой не п'ються пива, меди» — о смерти чумака в степи — все выдержано в манере чумацких песен, больше того — может считаться даже вариантом одной из них. По поводу грациозной песенки «Утоптала стежечку» Шевченко даже как-то спрашивали, не является ли она фольклорной записью. Поэт ответил, что только четыре последние строки взяты из народной песни, остальное же принадлежит ему.

Мы знаем шедевры «женской» лирики Шевченко, то есть стихотворения-песни, написанные от имени женщины или девушки и свидетельствующие о необыкновенной чуткости и нежности как бы перевоплотившегося поэта. Такие среди этих стихотворений, как «Якби мені черевики», «І багата я», «Полюбилася я», «Породила мене мати», «У перетику ходила», конечно, очень похожи на народные песни своим строем, своим

стилевым и языковым ладом, своей эпитетикой и т. п. Но возьмем начало одной из них:

Якби мені черевики,
То пішла б я на музики,
Горенько моє!
Черевиків немає,
А музика грає, грає,
Жалю завдає!¹

Или же начало другой:

У перетику ходила
По оріхи,
Мірошника полюбила
Для потіхи.
Мельник меле, шеретує,
Обернеться, поцілує
Для потіхи².

Если мы перелистаем любой сборник украинских народных песен, то не найдем там *ни одного* образца с таким сложным и изощренным строфическим построением! Приведенные шевченковские песни совсем не похожи по своему стиховому построению на народные песни с преобладающей в них строфической схемой *абвб*, они — создания

¹ Будь у меня башмачки // Пошла бы я на танцы, // Горюшко мое! // Башмачков нету, // А музыка играет, играет, // Печаль наводит!

² В перелесок я ходила // По орехи, // Мельника полюбила // Для потехи. // Мельник мелет, просеивает, // Обернется, поцелует // Для потехи.

изумительной ритмической и строфической изобретательности поэта. Он, разумеется, пользуется в этом ряду своих произведений готовыми фольклорными или народно-разговорными формулами и оборотами, но всегда подчиняет их своей остро своеобразной и неповторимой манере, своей мелодике, своей ритмике, своей строфике, наконец — своему мировоззрению.

Я долгое время разделял общепринятый взгляд, согласно которому дума ослепленного невольника Степана в поэме «Слепой» выдержана совершенно в духе и характере народных украинских дум — этих своеобразных эпических произведений, формальные и стилевые особенности которых дают нам право отвести им совершенно особое место в мировой эпической поэзии. Теперь я несколько изменил свое мнение. «В духе» народных дум, — да, конечно. А «в характере» — это нуждается в оговорках. Сравните названную «Думу» Шевченко с думой хотя бы «Об Алексее Поповиче», в которой видят некоторые наши исследователи прямой источник шевченковской думы, и вы увидите, что последнюю отличают вовсе не свойственный народному эпосу лаконизм и стремительность действия, что в ней похожее, но иное стиховое построение, свое, шевченковское.

Вот вступление к думе об Алексее Поповиче:

Ей, на Чорному морі,
На камені біленькім,
Там сидить сокіл ясенський¹,
Жалібненько квілить-проквіляє²
І на Чорнеє море
Спільна поглядає³,
Що на Чорному морі
Щось недобре починає:
Злосупротивна хвилешна хвиля вставає⁴,
Судна козацькі молодецькі
На три часті разбиває...

Этот изумительный зачин эпического сказания, пленивший когда-то своей высокой поэтической красотой молодого Бунина (роман «Жизнь Арсеньева»), выдержан в стиле жанра. Он медлителен и скорбно-величав, в нем речь идет еще не о событии, а о предчувствии природой, которую олицетворяет сидящий на белом камне сокол, этого события — бури на море, грозящей гибелью казацким судам.

А вот начало шевченковской думы в поэме «Слепой»:

В воскресеньє раным-рано
Сине море выло;
Казачество кошевого
На кругу просило:

¹ Сокіл-білозерець — в иных вариантах.

² Квілить-проквіляє — стонет, рыдает.

³ Спільна поглядає — внимательно, зорко поглядывает.

⁴ Хвилешна хвиля — типичная эпическая тавтология: «волнующаяся волна».

«Разреши ты, атамане,
Парусам подняться,
Чтоб за Тендер прогуляться,
С турком потягаться».
Чайки-челны спускали,
Пушками их уставляли,
Из широкого устья днепровского
выплывали.

Среди ночи темная,
Среди моря синего
За островом Тендером утопали.
Погибали...

(Перев. Н. Асеева)

Характер народной украинской думы великолепно выдержан, но изображение событий необычайно сжато и стремительно.

Еще ярче выступит, пожалуй, разница между способом изложения у Шевченко и в народном эпосе, если мы сравним начало этой же шевченковской «думы» с зачином знаменитой думы о Самойле Кишке, где дано пространное описание турецкой каторги (галеры), «расцветченной в три цвета», разукрашенной, разубранной и грозно вооруженной пушками¹. Шевченко в своей думе Степана (в поэме «Слепой»), в знаменитой балладе «У тієї Катерини», которая многими чертами связана с народно-эпическим творчеством и о которой будет еще речь, и в других вещах данного ряда чуждается про-

¹ Русский перевод обеих названных народных дум читатель может найти в книжке «Украинские народные думы», Гослитиздат, М. 1963.

странных описаний и каких бы то ни было задержек повествования, замедлений, ретардаций и амплификаций...

Гоголь также использовал в «Тарасе Бульбе» целые тирады из дум, по-гоголевски, великолепно сочетал элементы украинского эпоса с элементами эпоса гомеровского.

М. С. Шагинян в книге «Тарас Шевченко» (1946) говорит, что один из лучших у нас знатоков Шевченко — К. И. Чуковский в одной из своих дореволюционных статей утверждал, будто у Шевченко «почти нет стиха, подобного которому нельзя было бы найти в сборниках записей украинских народных песен» (стр. 9). Я не уверен, что Корней Иванович и доселе придерживается этого взгляда. Затем М. С. Шагинян приводит совершенно противоположное мнение известного советского музыковеда-фольклориста и этнографа Филарета Колессы, утверждавшего, что «большинство поэтических произведений Шевченко не проявляет почти никаких связей с народными песнями и думами» (стр. 14). Это сказано тоже, разумеется, слишком категорически.

Вспомним, однако, такие общеизвестные вещи Шевченко, как «Сон», «Кавказ», «Мария», «Неофиты», как его личная и политическая лирика, чтобы согласиться, что определение Шевченко как поэта только *народного* в смысле стиля, стихотворной техники

и т. п. приходится отвергнуть. Не отрицая наличия фольклорных элементов в целом ряде произведений Шевченко, могучего воздействия на него народного мировоззрения, мы все же должны признать, что Шевченко — поэт народный в том смысле, в каком мы говорим это о Пушкине, о Мицкевиче, о Беранже, о Петефи. Здесь понятие *народный* сближается с понятиями *национальный* и *великий*.

II

Первое дошедшее до нас стихотворное произведение Шевченко — баллада «Причинна» («Порченная»), не помещенная, кстати, поэтом в его первый сборник, начинается совершенно в духе романтических баллад первой половины XIX века — русских (Жуковский, Козлов и пр.), украинских (Боровиковский), польских (Мицкевич), в духе западноевропейского романтизма:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідний місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав¹.

¹ Ревет и стонет Днепр широкий, // Сердитый ветер завывает, // Долю ветлы пригибает высокие, // Горами волну подымает. // И бледный месяц на ту пору // Из тучи порой выглядывал, // Как будто челн в синем море // То возникал, то утопал.

Здесь — все от традиционного романтизма: и сердитый ветер, и бледный месяц, выглядывающий из-за туч и подобный челну среди моря, и волны, высокие как горы, и ветлы, гнущиеся до самой земли... И вся баллада построена на фантастическом народном мотиве, что тоже характерно для романтиков.

Но за только что приведенными строчками идут такие:

Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались
Та ясен раз у раз скрипів¹.

«Сичі в гаю» — это тоже, конечно, от традиции, от романтической поэтики страшного. Но *ясень, время от времени скрипящий под напором ветра*, — это уже живое наблюдение над живой природой, это уже не книжное, а свое.

Вершиной балладного творчества Шевченко можно, думается, считать значительно позже, в 1848 году, написанное стихотворение «У тієї Катерини». Стихотворение это — насквозь романтично и вместе с тем совершенно реалистично. Здесь нет проти-

¹ Еще третьи петухи не пели, // Нигде не слышно людского гомона, // Сычи в роще перекликались // Да ясен то и дело скрипел.

воречия. Ведь романтичны не только «Старуха Изергиль» и «Песня о Буревестнике», но и «Челкаш», и «Итальянские сказки», и многие странички «Фомы Гордеева» и «Матери» Горького... Ведь жестоко, до беспощадности правдивые «Всадники» Яновского, реалистические в своей основе «Очарованная Десна» и «Поэма о море» Довженко входят в волшебный круг мировой романтики. Ведь признаки романтики, как мироощущения, как свойства человеческой души, можно найти и у греческих трагиков, и у Данте, и у Шекспира, и в «Фаусте», и в «Евгении Онегине», и в драматургии Леси Украинки, и в «Молодой гвардии» Фадеева, в «Тихом Доне» Шолохова, в «Русском лесе» Леонова, и в поэмах Янки Купалы и Якуба Коласа...

Размер, которым написана баллада «У тієї Катерини»,— это привычный для Шевченко так называемый «коломыйковый» стих, но с некоторыми отклонениями в сторону разноstopности, сближающими его с упомянутой уже думой в поэме «Слепой», со стихотворением «У неділеньку у святую», тоже датированным 1848 годом, то есть с произведениями Шевченко, отмеченными веянием думового стиля. Однако и здесь Шевченко далек от медлительного народного эпоса, рассказ его необычайно сжат и энергичен. Автор сразу вводит нас *in medias res*, в самую гущу событий:

У тієї Катерини
Хата на помості,
Із славного Запорожжя
Наїхали гості.
Один Семен Босий,
Другий Іван Голий,
Третій славний вдовиченко
Іван Ярошенко¹.

Мы — в мире мечты, в мире романтических преувеличений, в мире романтики... «У тієї Катерини», «у той Катерины»... Та Катерина — это, очевидно, какая-то особенная, единственная на всю Украину, а может быть, и во всем мире Катерина, какая-то невиданная красавица... Фамилии или прозвища Босый и Голый могли бы подсказать нам желание искать здесь социальные характеристики героев, — но принимает-то у себя этих гостей хозяйка, у которой «хата на помості» («хороша, богата»), то есть безусловно богатая женщина. Можно помириться на том, что у этой сказочной красавицы и зажиточной хозяйки демократические наклонности... А что красавица она действительно сказочная, об этом свидетельствует разговор гостей-казаков, из которых третий, опять-таки, очевидно, единственный на всю Украину и известный всей Украине,

¹ В переводе Н. Ушакова:
Хата Катри-Катерины
Хороша, богата.
Приехали запорожцы
Зашли к Катре в хату.

Один — Семен Босый,
Другой — Иван Голий,
Третий — славный вдовиченко
Иван Ярошенко.

хотя и вымышленный поэт, «славный вдовиченко» (сын вдовы) Иван Ярошенко. Вот этот разговор восхищенных казаков (цитирую дальше в переводе Н. Ушакова):

Изъездили Польшу
И всю Украину,
А никого не видели
Краше Катерины!

Украины, оказывается, мало: «изъездили Польшу!». Достойна удивления художественная скупость поэта: он не дает никакого описания внешности Катерины, о которой мы знаем только, что у нее «хата на помості» (буквально — хата с мощеным полом), не рисует ни черных бровей, ни карих глаз ее, ни иных «прелестей», а подает ее красоту посредством обмена мнений и решительных заявлений гостей:

Один молвит: «Братья,
Если б был богат я,
То отдал бы все золото
Этой Катерине
За час за единый».
Второй молвит: «Други,
Мне б сильные руки,
Я бы отдал всю их силу
За час за единый
Этой Катерине».

Перед нами, таким образом, два характера, два мировоззрения: один измеряет все богатством, другой — силою. А вот третий характер, третье мировоззрение:

А тут молвит третий,
Говорит он: «Дети,
Все я сделаю на свете
Для вот этой Катерины
За час за единый».

Вот это уже «сильна как смерть», это уже та любовь, которая бросает на чашу весов не богатство и не силу, а *всю жизнь!*

Катерина задумалась,
Ему отвечает:
«Есть у меня брат родимый,
Гибнет, погибает
Он в Крыму — в неволе вражьей.
Кто его добудет,
Тот, казаки-запорожцы,
Мне супругом будет».

Слова Катерины обращены, конечно, к *третьему*, к тому, кто готов для нее *всё* сделать, — но все трое, и славный вдовиченко, и два товарища его, проявили непреклонную, продиктованную страстью волю, все трое помчались освобождать «из лютой неволи» брата Катерины. Первых двух постигла страшная участь:

Один в Днепре сгинул,
Как в темной могиле,
Другого в Козлове
На кол посадили.

Рядом с романтикой — реалистическая, историко-бытовая точность, оттеняющая романтику: сгинул (в подлиннике — *утонул*) не где-то вообще, а в Днепре (в подлинни-

ке — у *Дніпровім гирлі*, т. е. в устье Днепра), посадили на кол не где-то там, в чужой земле, а именно в Козлове... Это — точность народной поэтики с ее «стопудовыми лицами» и «семимильными сапогами», с датированием событий (одна украинская историческая песня начинается: «Ой тисяча сімсот дев'яносто першого року...»).

Но в противоположность эпическому народному стилю Шевченко в своей балладе предельно немногословен.

Третий, Иван Ярошенко,
Славный вдовиченко,
Из лютой неволи,
Из Бахчисарая
Брата вызволяет.

Как вызволяет? Какие пережив приключения? Какие подвиги свершивши? Автор этого не хочет сказать, да читателю этого и не нужно. Весь рассказ необычайно целеустремлен, он туг, как тетива, посылающая единственную верную стрелу.

Утром двери заскрипели,
Гости входят в хату:
«Вставай, вставай, Катерина,
Встречай, Катря, брата!»
Глянула — и отступила
И заголосила:
«То не брат мой, то мой милый!
Я с тобой хитрила».

Примечательно, что слова эти Катерина произносит не с насмешкой, не с сознанием

победы, а с горьким раскаянием. Но кара за коварство неотвратима:

«Ты хитрила!» И Кáтрина
Голова скатилась...

Поэт не говорит нам — кто же убил Катерину... Иван Ярошенко? Возможно, вправду, что Иван Ярошенко, оскорбленный, говоря современным нам языком, в лучших своих чувствах. Ну а может быть, и тот не названный по имени будто бы брат, на самом деле «милый», то ли муж ее, то ли любовник? Ведь и он мог разочароваться в своей возлюбленной, и он мог оскорбиться за своего освободителя, славного вдовиченка! Ведь любовь его эта чернобровая Катерина (здесь в конце баллады впервые видим этот постоянный эпитет для определения Катериной красоты) втоптала своим обманом в грязь! Все недосказано, все таинственно...

А дальше — апофеоз великого слова дружба, великого слова братства:

Катерину молодую
В поле закопали,
А славные запорожцы
В степи побратались.

Фольклористы указывают на народно-поэтические источники этой баллады (песня про «тройзілля»), но всем своим строем, характером и тоном изумительное это стихотворение принадлежит изумительному поэту — Тарасу Шевченко, и только ему.

Возвратимся, однако, к первому периоду его творчества.

Вскоре за «Причинною» (предположительно 1837 г.) последовала знаменитая поэма «Катерина», над которой в мои отроческие годы столько слез пролили девушки и которая открывает собою целый цикл произведений, посвященных центральной у Шевченко теме. По сюжету своему поэма эта имеет ряд предшественниц во главе с «Бедной Лизой» Карамзина (не говорю уже о гетевской Маргарите), но вчитайтесь в речь ее героев и сравните эту речь с речью карамзинской Лизы и ее обольстителя, взгляните к шевченковским описаниям природы, быта, характеров, и вы увидите, насколько Шевченко ближе, чем Карамзин, к земле, и при этом к родной земле. Вот один из пейзажей в «Катерине»:

Кричать сови, спить діброва,
Зіроньки сіяють,
Понад шляхом, ширицею
Ховрашки гуляють¹.

Так же реалистичен и пейзаж, которым открывается IV часть поэмы:

Попід горою, яром, долом,
Мов ті діди високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять.
У яру гребля, верби в ряд,

¹ Кричат совы, спит дубрава, // Звездочки сияют; // Вдоль большака, в траве-ширице // Суслики разгуливают.

Ставок під кригою в неволі
І ополонка — воду брать...
Мов покотьоло червоніє
Крізь хмару — сонце зайнялось...¹

Не просто «ополонка» («прорубь»), а с точным указанием: «воду брать». Солнце сравнивается с красным «покотьолом». По словарю Гринченко, «покотьоло» — деревянный кружок (детская игрушка). Вот с чем сравнивает солнце молодой романтик!

Далека от романтической приподнятости и речь героев «Катерины», например, напутствие старых отца и матери прогоняемой ими из дому «покрытке» Катерине, разговоры лесника (в IV части) со своим, вероятно, помощником Нечипором, бойкие словца солдат в III части (приведенные по-русски), последний диалог Катерины с оболъстившим ее офицером...

Несчастливая мать-«покрытка», встретив случайно в холодный вьюжный день проезжающую группу солдат, во главе которой красуется на коне ее соблазнитель, догоняет его с горькими воплями, хватается за стремяна, умоляет хотя бы взглянуть на нее:

¹ Под горой, в овраге, в долине, // Как старцы высокобелые, // Дубы еще со времен гетманов стоят. // В овраге плотина, ивы рядами, // Пруд подо льдом в неволе // И прорубь — воду брать... // Словно деревянный кружок краснеет // Сквозь тучу — солнце занялось...

«Пожалей меня, голубчик!
Видишь — я не плачу.
Не узнал меня ты, что ли?
Посмотри, взглядися!
Видит бог, что я — Катруся!»
«Дура, отвяжися!
Прочь безумную возьмите!»¹
«Боже ты мой, боже!
И он меня покидает!
А клялся мне кто же?»
«Уведите, что стоите?»
«Ой, за что ж на муку
Родилась я? На кого ж ты
Подымаешь руку?»...

(Перев. М. Исаковского)

В таком же тоне, нигде не сбивающемся на ложный пафос и тем самым глубоко трогательном, продолжает свои жалобы горемычная женщина. Каждому слову веришь: именно так могла и должна была говорить Катерина в эту трагическую минуту.

Вообще следует обратить внимание на естественность и простоту речи героев Шевченко на всем протяжении его творчества. Как изящны, например, речевые характеристики сотника, Настуси и Петра в поэме «Сотник», заключающей в себе заметные элементы драматического произведения!

Лирика Шевченко начиналась такими, не лишенными черт сентиментализма песня-

¹ Здесь переводчик, из соображений гладкости размера, энергичную фразу офицера, сказанную порусски — «Возьмите прочь безумную!» — хорезирует... На мой взгляд, это спорный прием.— (М. Р.)

ми-романсами, как «Нащо мені чорні брови», но она все более и более приобретала черты реалистического, беспредельно искреннего разговора о самом заветном, — довольно вспомнить хотя бы такие вещи, как «Мені однаково», «Огні горять», знаменитое «Як умру, то поховайте» (традиционное название «Заповіт» — «Завещание» или «Завет»). Черты своего, своеобразного стиля очень рано проявляются у Шевченко. Уже в балладе «Тополя» мы видим смелое уподобление:

Без милого сонце світить —
Як ворог сміється¹.

Очень характерной чертой шевченковской поэтики являются вот эти контрастные словосочетания, которые в свое время подметил еще Франко: «недоля жартує», «пекло сміється», «лихо сміється», «журба в шинку мед-горілку поставцем кружала» — «недоля шутит», «ад смеється», «горє смеється», «печаль в шинке мед-вино пила из полного кубка» и т. п.²

Мы еще обратимся к образной системе Шевченко, к его сравнениям, метафорам, эпитетам и т. д. Не будем ни здесь, ни дальше увлекаться литературными сопоставле-

¹ Без милого солнце светит — // Точно враг смеется.

² И в а н Ф р а н к о, Із секретів поетичної творчості. Твори в двадцяти томах, т. XVI, Київ, 1955, стр. 251 и след.

ниями и особенно выискиванием «влияний», о чем так хорошо и справедливо сказал А. И. Белецкий:

«Проявлением самого незначительного сходства словосочетаний и слов у Мицкевича и Шевченко, у Шевченко и в польской подпольной литературе констатировались как открытия, как вклад в шевченковедение. На самом же деле такие констатации, как и выискивание словесных совпадений, не доказывали ничего, кроме того, что разные люди, которые живут в одно и то же время, в одних и тех же социально-политических условиях, неминуемо обращаются к одним и тем же жизненным фактам, принуждены уподобляться друг другу, выражая свое отношение к неприемлемой для них — с разных точек зрения — действительности¹.

Признавая полную основательность этого утверждения, не могу все же не указать, что некоторые места поэмы Шевченко «Сон» действительно перекликаются с так называемым «Отрывком» III части поэмы Мицкевича «Дзяды», в частности с разделами «Пригороды столицы» и «Петербург».

Не углубляясь в сравнительное рассмотрение этих вещей, замечу, что и для Мицкевича и для Шевченко характерно остросатирическое изображение «града Петрова»,

¹ Сборник «Т. Г. Шевченко в критиці», Київ, 1953, статья А. И. Белецкого «Шевченко і слов'янство».

который такими высокаторжественными словами прославил в «Медном всаднике» Пушкин. И произведения Мицкевича, и «Медный всадник» были украинскому поэту, безусловно, известны. Под «Сном» стоит дата — 1844 год, а «Медный всадник» впервые опубликован полностью в 1837 году. Шевченко читал все, вышедшее из-под пера Пушкина, перед которым преклонялся. Вообще начитанность его и читательская жажда были огромны. Об интересе поэта к польской литературе, о страстной любви к творчеству Мицкевича есть ряд свидетельств.

Возвращаясь к анализу стилевого развития Шевченко, признаем, что в общепринятой формуле «от романтизма — к реализму» заключается, бесспорно, правда. Его поздние поэмы — «Неофиты» (якобы из римской истории) и «Мария» (на евангельский сюжет) изобилуют реалистическими бытовыми подробностями. Евангельская Мария у него «вовну білую пряде» на праздничный бурнус для старика Йосифа

Або на берег поведе
Козу з козяточком сердешним
І попасти і напоїть¹,—

а об Иисусе автор одобрительно говорит:

Малий вже добре майстрував...²

¹ Или на прибрежный лужок поведет // Козу с бедным козленком // И попасти и напоить.

² Малыш уже славно мастерил...

Кое-где мы видим уже не древнюю Иудею, а современную поэту Украину, украинское село, где

Дитяточко (то есть Иисус) собі росло,
З Івасем удовенком гралось¹,—

где мать зарабатывает для этого «дитяточка» «півкопи на буквар» и т. п.

И все же это «приземление» высоких предметов уживалось с торжественным, необыденным, патетическим строем речи, о чем свидетельствует хотя бы начало той же «Марии»:

Все упованіє мое
На тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє твоє,
Все упованіє мое
На тебе, мати, возлагаю².

Эта высокая настроенность характерна и для ряда лирических вещей Шевченко, как, например, знаменитая «Муза», которая заканчивается таким обращением:

А як умру, моя святая!
Моя ти мамо! Положи
Свого ти сина в домовину,
І хоть єдиную сльозину
В очах безсмертних покажи!³

¹ Дитя росло, // С Івасем, сыном вдовы, играло.

² Все упование мое // На тебя, мой пресветлый рай, // На милосердие твоё, // Все упование мое // На тебя, мать, возлагаю.

³ А когда умру, моя святая! // Моя ты мама! Положи // Своего ты сына в гроб // И хоть одну слезинку // В очах бессмертных покажи!

Шевченко — лирик по преимуществу, лирик даже в таких эпических произведениях, как поэма «Гайдамаки», в которой персонажи наполняют петербургскую комнату поэта, и он ведет с ними задушевный разговор о судьбах родного края, о путях молодой украинской литературы... И «Катерина», и «Наймичка», и «Марина», и «Мария» — все поэмы Шевченко пронизаны лирической струей. Не говорю уже о таких гневных инвективах, как «Сон» и «Кавказ», о знаменитом «Послании». Чисто лирические вещи Шевченко предельно искренни и просты. Именно простотой небольшого стихотворения «Садок вишневий коло хати» восхищался когда-то Тургенев. Простота эта, однако, очень далека от примитивности. Читаем:

Садок вишневий коло хати,
Хруші над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.

Сім'я вечера коло хати,
Вечірня зіронька встає,
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.
Затихло все, тільки дівчата
Та соловейко не затих¹.

И своеобразное построение строфы, и, несомненно, сознательное повторение слова «хати» в конце первого стиха каждой строфы, и возникающая из этого рифмовка, и последовательное развитие картины украинского вечера от его начала до той поры, когда всё, кроме девушек да соловья, засыпает,— все эти черты свидетельствуют о большом мастерстве поэта, о тонкости и сложности его внешне простого письма.

Читаем одну из жемчужин шевченковской лирики:

Чого мені тяжко, чого мені нудно,
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш, що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?
Засни, моє серце, навіки засни,
Невкрите, розбите — а люд навісний
Нехай скаженіє... Закрий, серце, очі.

¹ Сад вишневый возле хаты, // Майские жуки
над вишнями гудят, // Пахари с плугами идут, //
Поют на ходу девушки, // А матери на ужин
ждут.

Семья ужинает у хаты, // Вечерняя звезда встает,
// Дочь подает ужин, // А мать поучила бы, //
Да соловей не дает.

Положила мать у хаты // Маленьких детей своих;
// Сама заснула возле них. // Затихло все, только
девушки // Да соловей не затих.

На нашей славной Украине,
На нашей — не своей земле.
Родной отец не скажет сыну
О том, как я в неволе жил:
«Молися, сын, за Украину
Когда-то он замучен был».
Мне все равно, молиться будет
Тот сын иль нет... И лишь одно,
Одно лишь мне не все равно:
Что Украину злые люди,
Лукавым убаюкав сном,
Ограбят и в огне разбудят...
Ох, это мне не все равно!

(Перев. В. Звягинцевой)

Эта написанная в каземате, накануне неотвратимой царской кары, исповедь перед самим собой — самое высокое выражение беспредельной, доходящей до самоотречения любви к родине. Мировая литература мало знает таких примеров.

III

Ведущая черта поэзии Шевченко — музыка, мелос, ритмическая мощь и метрическое разнообразие.

Будучи художником в узком смысле слова, он был очень зорок и чуток к цветам, краскам и тонам видимого мира, и все же музыкальное восприятие жизни было ему свойственно в первую очередь.

Достойна, однако, внимания образная система поэта, все углублявшаяся, все больше и больше живых, земных, индивиду-

альных черт приобретающая на протяжении его поэтической деятельности.

В ранних произведениях Шевченко мы зачастую видим традиционные, почерпнутые из фольклорных образцов сравнения типа:

Кругом хлопці та дівчата —
Як мак процвітає.

Но скоро на смену этим готовым формулам приходят чисто индивидуальные метафоры, сравнения, уподобления. Ян Гус в его поэме «Еретик» стоит перед своими неправедными судьями:

Мов (словно) кедр серед поля
Ливанського.

В той же «Тарасовой ночи», откуда взято только что приведенное «як мак процвітає», река Альта, обогренившая кровью сражающихся, уподобляется красной змее:

Червоною гадюкою
Несе Альта вісті.

В ранней небольшой поэме «Гамалия» находим такое «приземленное» описание разбушевавшегося Босфора:

Босфор аж затрясся, бо зроду не чув
Козацького плачу; застогнав широкий
І шкурою сірий бугай стрепенув¹.

¹ Босфор даже затрясся, потому что сроду не слышал // Козацкого плача; застогал широкий // И всей шкурой серый бык вздрогнул.

Морской пролив — в виде серого быка с содрогающейся шкурой!

А в довольно поздней поэме «Чернец» — такой образ седого гетмана, Мазепы, каким он представляется кончающему свою жизнь в монастырской келии Семену Палию:

...сивий гетьман, мов сова,
Ченцеві зазирає в вічі¹.

Конкретность, наглядность шевченковских образов просто поражают:

Пустиня циганом чорніла...

—
Не спалося, а ніч, як море...

—
І досі ще стоїть любенько
Рядок на вигоні тополь,
Неначе з Оглава дівчата
Отару вийшли оглядати
Та й стали...²

В поэме «Слепой» думы поэта, его мечты и мысли, его стихи называются «похованими дітьми» (похороненными детьми), а коварная судьба («доля») «виглядає з торбини» (выглядывает из сумы), «як дитинка» — как ребенок...

¹ Седой гетман, словно сова, // Чернецу глядит в глаза.

² И до сих пор еще стоит премило // Ряд топей на выгоне, // Как будто из Оглава девушки // Овечьё стадо вышли встречать // И остановились...

Острой печалью пронизывают нас первые строки поэмы «Марина», и печаль эта вызывается очень конкретным сравнением:

Как гвоздь в груди кровотокащей,
Марину эту я ношу.

(Перев. В. Бугаевского)

Грустная картина диктует поэту грустные уподобления:

И Трахтемиров под горою
Свои хатенки вдоль реки
Раскинул горестной рукою,
Как нищий пьяненький куски.

(Перев. А. Суркова)

Глубоко личное переживание выражается посредством сравнения с очень конкретным бытовым и социальным явлением:

Как за подушным, правый боже,
Ко мне на дальней стороне
Пришли тоска и осень...

(Перев. Н. Ушакова)

Гротескные образы и сравнения служат поэту в его сатирическом обличении ненавистой ему действительности, «царей» и «царят».

Царица в поэме («комедии» по определению Шевченко) «Сон» сравнивается с засушенным опенком, опухший с похмелья Николай I — с медведем, а в самом начале «Сна» видим такие портретные характеристики:

У всякого своя доля
И свой путь широкий:

Этот строит, тот ломает,
Этот жадным оком
Высматривает повсюду
Землю, чтобы силой
Заграбастать и с собою
Утащить в могилу.
Третий в карты, словно липку,
Обдирает свата,
Тот тихонько в уголочке
Точит нож на брата.
А тот, тихонький да трезвый,
Богобоязливый,
Как кошечка, подкрадется,
Выждет несчастливый
День для вас да как запустит
Когтища в печенку,—
Не разжалобят злодея
И слезы ребенка!

(Перев. В. Державина)

К слову сказать, «Сон» принадлежал к тем «возмутительным» стихотворениям, которые навлекли на голову поэта царскую кару.

И из-под этого же напоенного «горечью и злостью» пера выходили такие нежные черты, как сравнение мчащегося по степи перекасти-поля с рыжим ягненочком, как прелестно светлое обращение к вечерней звезде во вступлении к поэме «Княжна»:

Зоре моя вечерняя,
Зійди над горою,
Поговорим тихесенько
В неволі з тобою...¹

¹ Звезда моя вечерняя, // Взойди над горой,
// Поговорим потихоньку // В неволе с тобой...

У раннего Шевченко очень часты народные, постоянные эпитеты — *синє море, біле личко, карі очі, темний гай, бистрий Дунай, сизокрилий орел, чорні хмари, вітер буйний, високі могили, дуб зелененький, червона калина*... Не следует понимать слово *постоянный* эпитет лишь в отрицательном смысле, как нечто застывшее, как враждебный подлинному искусству трафарет. Постоянный эпитет, самое простое и обыкновенное определение, раньше всего приходящее в голову, зачастую бывает самым могучим изобразительным средством. Александр Блок начинает свои «Двенадцать» такими строками:

Черный вечер,
Белый снег.

И эпитеты эти — *черный* и *белый* — лучше всего вводят читателя в трагическую атмосферу поэмы.

Но не менее могучи, разумеется, и оригинальные, индивидуальные, неповторимые эпитеты. Они появляются у Шевченко довольно рано и все гуще и гуще заселяют поле его поэзии: *рожева зоря, латаний талан* (буквально — *заплатанная судьба*), *сіроокі скіфи* (в поэме «Неофиты»), *прескорбная мати, синьомундирні часові, свято чорнобриве* (*чернобровый праздник* — в обращении к любимой женщине), *очі — голубі аж чорні*. Иногда неожиданное применение

общеупотребительного торжественного эпитета к слову «низкой речи» дает яркий сатирический эффект: «*святопомазана чуприна*» («*святопомазанный хохол*») — это о «помазанниках божьих», царях. Начало одного из прекраснейших лирических стихотворений Шевченко построено на неожиданных эпитетах:

І небо *невмите*, і заспані хвилі;
І понад берегом геть-геть
Неначе п'яний очерет
Без вітру гнеться...¹

В хорошем, бесспорно, переводе Н. Ушакова первая строка передана так:

И *сонные* волны, и *мутное* небо...

Это совершенно правильно, но, к сожалению, не передает очарования неожиданного: *неумытое* небо, *заспанные* волны... А передать это, вероятно, невозможно по чисто стихотворным соображениям.

Новая, непривычная и необычная ни в украинской, ни в русской, ни в общеевропейской литературе манера поэтического письма Шевченко сказала уже в его первом, дошедшем до нас произведении — балладе «Причинна» («Порченая»). Здесь видим мы чередование традиционного четырехстопного ямба («Реве та стогне Дніпр

¹ И небо неумытое, и заспанные волны; // И вдоль берега далеко-далеко, // Как будто пьяный, камыш // Без ветра гнется...

широкий») с «силлабическими», условно говоря, близкими к народной песне размерами — так называемым «коломыйковым» стихом (строки по 8 и 6 слогов, с жёнским окончанием, с рифмовкой по схеме *обвб*, с общим тяготением к хорю) и стихом «колячковым» (12—11 слогов с цезурой посредине, рифмовка *абаб*, общая тенденция к амфибрахию), — чередование, которое тонко отражает смены образов и настроений. Разумеется, стихотворения, отдельные части которых написаны в различных метрах, встречаем мы и у Державина, и у Пушкина (несомненных учителей Шевченко), — но едва ли не первый и даже, быть может, не единственный в мировой литературе Шевченко позволил себе сочетание в *одной* вещи размеров *разных стиховых систем* («силлабической» или, точнее, народно-песенной — и силлабо-тонической), — сочетание, звучащее у автора «Кобзаря» совершенно естественно и гармонично. Впоследствии такая смена размеров (иногда очень частая и даже несколько прихотливая) стала одним из самых излюбленных приемов Шевченко... если здесь позволительно слово «прием».

Музыкальность стихотворений Шевченко связана в первую очередь с народной песней (как и музыкальность Гейне).

Сказать, что Шевченко прекрасно знал народные украинские песни и чудесно их пел, — мало. Он жил песней. В дневнике его

и повестях немало и тонких высказываний о «профессиональной» музыке, свидетельствующих о большом, взыскательном и развитом вкусе Тараса Григорьевича. Высказывалось правдоподобное предположение, что Шевченко принадлежал к поэтам, которые во время создания своих стихотворений внутренне (а то и не внутренне) поют их. Таков был Бернс, таков был и украинский поэт, находившийся под сильным влиянием Шевченко, Юрий Федькович. Есть в литературе указания, что к некоторым своим вещам Шевченко сам подбирал мелодии...

Итак, музыкальность, певучесть, идущая от народной песни (но не только от нее!), — основа поэтики Шевченко.

Я уже назвал типы его стиха — «колядкового» и «коломыйкового». Вот пример последнего:

Не журиться Катеріна,
Вмиється сльозою,
Возьме відра, опівночі
Піде за водою.

Ударения здесь распределены очень свободно, их объединяет *общее хорейское движение*. Вопрос о том, надо ли в русских переводах сохранять шевченковское свободное расположение ударений (не совсем привычное для русского уха) или же последовательно хорейзировать шевченковские стихи данного типа, — до сего дня является предметом спора. Напомню только ведущим

этот спор, что примерно со времени Блока русские переводчики стараются эквиритмически («ударение в ударение») передавать тоже ведь чуждые русскому классическому стихосложению паузники или дольники Гейне... Существует и компромиссное решение: хореизировать шевченковские строки, но с несколько большей свободой ударений, чем это принято в русской силлабо-тонической версификации.

А вот пример «колядкового» стиха:

Сиротá соба́ка ма́е сво́ю до́лю,
Ма́е до́бре сло́во в сві́ті сиротá,
Його́ б'ють і ла́ють, заку́ють в невóлю,
Та ніхто про́ ма́тір на смі́х не спита́.

Подвести эти строки под какую-либо схему силлабо-тонического стиха довольно трудно, хотя общее амфибрахическое движение и здесь ощущается. Это, правда, пример особенно большой ритмической свободы. Здесь, как и в польских силлабических стихах (в мицкевичевском «Пане Тадеуше», например) очень большую организующую роль играет обязательная цезура.

Встречаются среди «колядковых» стихов Шевченко и совершенно амфибрахические строки:

Така́ її до́ля, о бо́же мій мільй...

Такие же споры, как по поводу передачи «коломыйковых» стихов на русском языке, ведутся и в отношении стихов «колядковых».

Примеры «классического» четырехстопного ямба у Шевченко довольно часты, причем замечено, что поэт к концу жизни все больше и больше чувствовал влечение к этому размеру.

Есть у Тараса Григорьевича и стиховые построения, которые не подходят ни под какие общепринятые формулы. Таково, например, начало небольшой поэмы «Гамалия»:

Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі
Із нашої України.
Чи там раду радять, як на турка стати,
Не чуємо на чужині.

То же в очень точном ритмически переводе Н. Асеева:

Ой, все нет и нет ни волны, ни ветра
От матери Украины.
Там идут ли речи про поход на турок —
Не слышно нам на чужбине.

Попадают в «Кобзаре» и места, написанные разностопным и разноударным интонационным стихом, приближающимся к так называемому свободному стиху, верлибру. Вот как, например, старый казак в поэме «Слепой» поучает своего приемного сына:

«Дело просто: если любя,
Можно обвенчаться.
Только вот что: нужно раньше
В людях потолкаться,
Приглядеться, как живут,
То ль пашут,

То ль по непаханому сеют
И прямо жнут,
И немолоченое веют,
Как мелют люди, как едят,
Так вот что, брат,—
Ты поработай: надо в люди
Пойти хотя б на год.
Узнать народ,
Тогда и порешим, как будет».

(Перев. Н. Асеева)

Или вот, пожалуй, еще более яркий пример из поэмы «Наймичка» («Работница»):

Жили-были дед да баба.
В роще кудрявой на хуторе старом.
Вдвоем весь век свой долгий провели
В тишине, в покое,
Как деточек двое.
Вдвоем ягнят пасли детьми когда-то,
А там обвенчались,
Скотины дождался
И хуторок приобрели,
И сад и пчельник завели,
И мельницу купили —
В достатке жили.
Лишь деток не дал бог,
А смерть с косою у порога.

(Перев. Т. Волгиной)

Даю эти два отрывка в русском переводе, потому что и Н. Асеев и Т. Волгина верно передали своеобразное течение этих стихов.

Метрическая и ритмическая свобода шевченковского стиха, такие вот примеры своеобразного верлибра дали когда-то Лунначарскому основание заметить:

«Шевченко свободно идет за народной традицией и создает «свободный стих» на несколько десятилетий раньше, чем заговорили о нем передовые поэты Запада»¹.

Эта мысль подхвачена некоторыми современными литературоведами, которые готовы ставить Шевченко, как «верлибриста», в один ряд с Пабло Нерудой и Назымом Хикметом.

Думаю, что это не совсем верно. Шевченко был величайшим реформатором стиха, но вряд ли его можно назвать в формальном отношении предшественником французских символистов или, скажем, Пабло Неруды, Назыма Хикмета, Квазимодо, Элюара...

Давно уже замечено поразительное изобилие у Шевченко внутренних рифм («Вміла мати брови дати, Карі оченята, Та не вміла на сім світі щастя-долі дати»), аллитераций («Хто се, хто се по сім боці Чеше косу? Хто се», «Неначе ляля в льолі білій», «Гармидер, галас, гам у гаї», «Туман, туман і пуста») и других средств звуковой изобразительности. Рифма у поэта подчас небрежна, но, конечно, не небрежностью объясняются такие созвучия, как «вечеряти — в очереті», как сложная песенная рифма «калино моя — поліваная»... Примеры эти свидетельствуют, наоборот, о признанном теперь

¹ А. В. Луначарский, Статьи о литературе, М. 1957, стр. 421.

всеми большим, сознательном мастерстве. Мастерство это было поставлено на службу тому великому делу, каким Шевченко считал дело поэта.

IV

В одном из стихотворений, написанных после ссылки, которая надломилась физически, но не поколебала духовно великого поэта, Шевченко обращается к своей Музе:

В ночи,
И днем, и в утреннем тумане
Ты надо мной витай, учи,
Учи нелживыми устами
Вещать мне правду...

(Перев. М. Рыльского)

Говорить правду — в этом видел Шевченко высокую обязанность поэта. И этому завету был верен всю жизнь тот, кто в самые тяжелые годы солдатчины говорил о себе:

Караюсь, мучуся, але не каюсь.

Правде служил Шевченко как человек, как гражданин, как художник, как мастер слова, глубоко осознавший его силу и избравший это слово своим орудием в борьбе за униженных и оскорбленных:

Возвеличу
Рабов и малых и немых!
Я верным стражем возле них
Поставлю слово.

(Перев. Мих. Голодного)

Образ идеального поэта дал Шевченко в раннем своем стихотворении «Перебендя». Взятое здесь как имя собственное, слово *перебендя*, по словарю Гринченко, означает 1) балагур и 2) капризник, привередник. Шевченко действительно указывает на некоторую привередливость или, вернее, изменчивость настроений, некоторое чудачество своего Перебенди. Этот старый слепой кобзарь, который «по белу свету бродит, на кобзе играет» (здесь и дальше — цитаты из перевода Гр. Петникова), и впрямь удивляет людей сменой своих настроений:

Запевая — он смеется,
Слезами — кончает.

Иван Франко подчеркивал один из мотивов «Перебенди» — мотив одиночества — и видел в этом стихотворении родство с «большой импровизацией» Густава-Конрада в III части поэмы Мицкевича «Дзяды», — импровизации, которая начинается так:

Ты одинок... Что мир?.. Что песнетворец миру?
Кто из людей поймет и примет мысль певца,
Горящий в песне дух постигнет до конца?

(Перев. В. Левица)

В подлиннике, кстати, яснее: там сказано не *мир*, а *люди*.

Тема одиночества есть и в шевченковском «Перебенде», но это совсем не то оди-

ночество, которым гордился Конрад. Бывают минуты, когда кобзарь уходит от людей в степь — и там поет для себя.

А дума по свету на туче летит.
Орлом сизокрылым летает, ширяет,
Небо голубое широкими¹ бьет;
Присядет на солнце, его вопрошает:
Где оно ночует? Как оно встает?
Послушает море, о чем плещет в споре...

Такое одиночество среди природы, такое общение с природой напоминает не одиноко спорящего с богом Конрада, а скорее того, кого изобразил Баратынский в стихотворении «На смерть Гете»:

С природой одною он жизнью дышал...

Перекликается здесь образ Перебенди и с образом пушкинского Пророка, который говорит о себе:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

И чаще все-таки Перебендя не в одиночестве, а среди людей:

С дивчатами на выгоне —
Гриця да Веснянку;

¹ Ш и р о к и м и — крыльями. Такое опущение существительного при прилагательном характерно для Шевченко.

В шинке, с парубками вместе,—
Сербина, Шинкарку;
С женатыми на пирушке
(Где свекровь презлая) —
О недоле, вербе в поле,
А потом — *У гаю;*
На базаре — *о Лазаре,*
Или — чтобы знали —
Тяжко, скорбно запоев он,
Как Сечь разоряли...

Нет, если Перебендя и одинок, то это одиночество того поэта, которому Пушкин советовал не дорожить «любовью народной», понимая под этой любовью популярность среди «светской черни», среди господствующего класса. Слово «народный» употреблял Пушкин и в другом смысле, когда говорил, что к воздвигнутому им нерукотворному памятнику не зарастет народная тропа. Шевченковский Перебендя дорожил любовью народной в этом втором значении слова, он жил и пел среди людей и для людей. Таков был и сам Шевченко.

Он рано осознал себя как поэт национальный, избрав своим орудием находившийся в пренебрежении у «панів» (у господ) украинский язык, который недруги считали, по выражению поэта, «мертвыми словами». Во вступлении к поэме «Гайдамаки» Шевченко прямо говорит об этом, обращаясь к будущим своим героям, гайдамакам, которых называет своими сынами, и предчувствуя осуждение своей поэмы «ум-

никами». «Умники» эти, предполагает автор, скажут о его персонажах так:

Поглядят, поведят носом —
И под лавку бросят.
Дескать, ладно, подождите,
Найдется писака:
Он по-нашему расскажет
И про гайдамаков,
А то вышел дурачина
С мертвыми словами
Да какого-то Ярему
Ведет перед нами.
Неуч, неуч, дурачина!
Видно, били мало.
От казачества — курганы
(Что еще осталось?),
Да и те давно разрыты,
Ветер пыль разносит.

Дальше следует совет:

Хочешь славы, денег хочешь —
Так пой про Матрешу,
Про Парашу, радость нашу,
Султан, паркет, шпоры.
Вот где слава! А то тянешь —
Шумит сине море...
А сам плачешь. Да с тобою
Весь твой люд сермяжный...

Автор отвечает советчикам:

Вот спасибо умным людям,
Рассудили важно!
Только жаль, что кожух теплый —
На другого шитый.
Очень умны ваши речи,
Да брехней подбиты.

(Перев. А. Твардовского)

В этом разговоре с воображаемыми читателями поэт отстаивает не только свое национальное достоинство, но и демократическую свою тематику. «Гайдамаки» — поэма о народном восстании против угнетателей, и «ляхи» в ней категория не национальная, а социальная, как мы видим это и в народных украинских думах. Что Шевченко во время создания поэмы «Гайдамаки» далек был от призывов к национальной вражде, свидетельствует предисловие, вернее, послесловие к поэме, где автор говорит:

«...весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном, и весело послушать его, когда он запоем думу про то, что давно происходило, как боролись ляхи с казаками, весело, а... все-таки скажешь: «Слава богу, что миновало», — а особенно когда вспомнишь, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались, пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть житом, пшеницею, как золотом покрыта, неразмежевана останется навеки от моря и до моря славянская земля».

Этой мыслью о славянском единстве и единении проникнуто и посвящение поэмы «Еретик» известному деятелю чешского национально-освободительного движения Шафарику, и обращение к одному из поляков, товарищей Шевченко по ссылке, стихотво-

рение «Ще як були ми козаками» с призывом: «Подай же руку козакові». О благоговеинном отношении Шевченко к передовым русским деятелям, к декабристам, к Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Щедрину и говорить не приходится: оно общеизвестно. Страстно ненавидя самодержавие и царских чиновников, Шевченко всей душой любил русский народ, прямые доказательства чего мы находим, между прочим, в его «Дневнике». За идеей славянского единения кроется у Шевченко другая, более широкая: идея дружбы всех народов, особенно ярко выраженная в полном сочувствия к угнетенным кавказским народностям стихотворении «Кавказ». Ведь недаром поэт, как свидетельствуют современники, очень любил читать друзьям стихотворение Пушкина о Мицкевиче («Он между нами жил...»), где идет речь

... о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Это выражение — «великая семья» — перенес Шевченко и в свое «Завещание» («Заповіт»):

И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.

(Перев. А. Твардовского)

«Слава богу, что миновало»,— сказал Шевченко о прошлом Украины на заре своего творчества. И все же нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто у Шевченко совсем не было элементов любования этим прошлым, романтизации старины, идеализации казачества. Эти элементы были, мы видим их не только в ранних поэмах «Гамалия», «Иван Пидкова», «Тарасова ночь», не только в послании к Основьяненко (Квитке) «Бьют пороги...», но и в такой сравнительно поздней вещи, как датированная 1847—1858 годами поэма «Чернец», где дается идеализированное описание минувшего Украины:

На киевском на Подоле
Казацкая наша воля
Без холопа и без пана
Ни пред кем не клонит стана.
Стелет бархатом дороги,
Вытирает шелком ноги,
Сама собой управляет
И пути не уступает...

(Перев. Н. Асеева)

Однако критический пересмотр минувшего, начавшийся в послесловии к «Гайдамакам», углублялся у Шевченко в продолжение всей его творческой жизни. Уже в «Послании» («К мертвым, и живым, и нерожденным

землякам моим...») поэт гневно заявил, обращаясь к тем, кто восхвалял времена казачества:

Рабы, холопы, грязь Москвы,
Варшавский мусор ваши паны,—
И гетманы, и атаманы!

(Перев. В. Державина)

Рано осознав себя как поэта национального и столь же рано объявив себя поэтом демократии («мужицким поэтом»), Шевченко всей своей жизнью и всем своим творчеством показал, что он — поэт-революционер, беспощадный враг не только национального, но и социального гнета. Социальные и общечеловеческие мотивы занимали все большее место в его поэзии, и прав был Герцен, который к своей характеристике Шевченко, как писателя народного, прибавил, что он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, поскольку он является также политическим деятелем и борцом за свободу¹.

Зрелый Шевченко был другом и единомышленником Чернышевского и Добролюбова, причем мы имеем полное право говорить здесь о плодотворном *взаимопонимании*.

¹ Сборник «Т. Г. Шевченко в критиці», Київ, 1953, стр. 28.

Мир прекрасен, мир светел, и бесконечно радостной могла бы быть и должна быть жизнь в этом мире. Поэт часто возвращался к мечте об этой радостной жизни, и тогда из-под его пера выходили такие безоблачные идиллии, как окончание поэмы «Слепой», как многие места в «Наймичке» («Батрачке»), «І досі сниться», «Тече вода із-за гаю». Привожу одно из них в переводе Т. Волгиной:

Все снится мне: вот под горою
 Белеет хатка над водою,
 В тени под вербами стоит.
 И все я вижу: дед сидит
 Совсем седой и забавляет
 Дитя кудрявое, ласкает
 Родного внука своего.

Все снится мне: неторопливо
 Выходит мать, смеясь счастливо,
 И деда и дитя свое
 Три раза весело целует,
 Малютку кормит и милует,
 И спать несет, а дед сидит,
 Тихонько молвит, улыбаясь:
 «Да где же это доля злая?
 Печали эти да враги?»

И старый шепотом читает,
 Перекрестившись, *Отче наш*.
 Сквозь вербы солнышко сияет
 И тихо гаснет. День погас,
 Все смолкло. Помолившись богу,
 Побрел себе и дед к порогу.

Мир прекрасен, и всего прекраснее в нем та, которую поэт отождествлял с «зорею» («зоря» по-украински — и звезда и заря), всего прекраснее — молодая счастливая мать.

И в самых радостных краях
Не знаю ничего красивей,
Достойней матери счастливой
С ребенком малым на руках.

(Перев. А. Твардовского)

Но затапывают в грязь эту светлую красоту «злые люди». «Злые люди» — это «царі, всесвітні шинкарі», паны и паничи, «раби з кокардою на лобі». Это они оскверняют самое святое, что есть на земле: мать, материнство. Начиная «Катериной» и кончая «Марией» и «Неофитами», сквозной темой у Шевченко проходит мотив оскорбленного, поруганного материнства, обольщенной и обесчещенной женщины, внебрачного и потому отвергнутого обществом ребенка. Между «покрыткой» Катериной и «богоматерью» Марией — самое короткое расстояние, и Иисус у Шевченко — прежде всего «незаконнорожденный ребенок», «байстрюк» — по выражению тех же «злых людей». Стержневым мотивом цикла, известного под названием «Цари», является все та же тема оскверненной женской чести. Иногда, как в поэме «Марина», оскорбленная и страждущая женщина становится мстительницей, но самый грозный мститель,

самый беспощадный обличитель всех «злых», «неситых» (алчных), «лукавых» людей, всех угнетателей и насильников — сам поэт. Беспредельный в своей любви, Шевченко беспределен и в своей ненависти. Он — один из величайших в мире поэтов гнева, он сродни Гюго, автору «Возмездий», и Лермонтову, автору стихов на смерть Пушкина. Он — поэт гнева и возмездия, возмездия сознательного и справедливого, имя которому — революция.

Шевченко остро ненавидел самодержавие, ненавидел все формы угнетения человека человеком, ненавидел угнетателей. Революционность его умонастроения объясняется не только тем, что он родился крепостным и на себе испытал весь ужас крепостного права, но и тем, что в свои молодые годы вращался он в Петербурге, где еще недавно прозвучали разбудившие Россию голоса декабристов, среди передовой русской интеллигенции, объясняется, наконец, тем, что этот человек был гениален, что он видел на столетия вперед.

И все же не надо думать, что Шевченко родился последовательным революционером с головы до ног. Я уже говорил о гневных строках его «Послания». Но там есть и другие строки, в которых он пытается усознать «просвещенных» земляков своих, «на Украине и не на Украине сущих», призывая их: «Опомнитесь, будьте люди», — и

заканчивает свое «дружеское послание» так:

Обнимите ж меньших братьев,
Как братья родные,—
Мать пусть ваша улыбнется
За века впервые!
Всех детей своих обнимет
Твердыми руками
И деточек поцелует
Вольными устами,
И забудется позора
Давняя година,
Оживет иная слава.
Слава Украины,
И свет ясный, невечерний
Тихо засияет...
Обнимитесь, братья мои,
Прошу, умоляю!
(Перев. В. Державина)

Ясно, что совет «обнять младших братьев» обращен был к «старшим братьям». Но «просить и умолять» этих старших братьев, то есть представителей господствующих классов, пришлось поэту недолго. Он вскоре бесповоротно понял всю тщетность таких увещаний и для изображения помещиков-«народолюбцев» нашел самые беспощадные краски. Вот портрет одного из «народолюбцев», данный в поэме «Княжна»:

Гуляки знай себе кричат:
— И патриот, и брат убогих!
Наш славный князь! Виват! Виват! —
А патриот, убогих брат...
И дочь и телку отнимает
У мужика.

(Перев. В. Гунниуса)

Сходный портрет такого народолюбца видим мы и в стихотворении, обозначенном инициалами П. С., за которыми скрывается помещик Петр Скоропадский, «потомок гетьмана дурного» («потомок гетмана-глупца»), по определению Шевченко, и — добавим — предок опереточного гетмана Украины Павла Скоропадского.

В том же году, что и «Послание», даже месяцем раньше, была написана поэма «Кавказ», где, однако, нет и тени миролюбивого обращения к «старшим братьям». Поэма, начинающаяся образом Прометея, который вдохновлял столько поэтических умов, от Эсхила до Леси Украинки и до наших дней, представляет собою грозный обвинительный акт против царского самодержавия, угнетателя народов. Сарказм поэта достигает здесь самого высшего накала.

За горами горы, тучами повиты,
Засеяны горем, кровию политы.
Вот там-то милостивцы мы
Отняли у голодной голи
Все, что осталось — вплоть до воли,—
И травим... И легло костью
Людей муштрованных немало.
А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало,
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез!
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!

Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям
Слава!

За этим саркастическим славословием следуют такие вдохновенные строки, являющиеся прямым противоположением предыдущему:

Слава синим горным кручам,
Подо льдами скрытым!
Слава витязям великим,
Богом не забытым!
Вы боритесь — поборете!
Бог вам помогает!
С вами правда, с вами слава
И воля святая!

К тому значению, которое вкладывал Шевченко в слово «бог», мы еще возвратимся. Но что под «витязями великими» (у Шевченко — рыцари — «лицарі») разумел поэт борцов против установленного правопорядка, а в сущности деспотического произвола,— в этом не может быть никакого сомнения.

Крылатым стало на долгие годы ироническое определение «благоденствующей» под царским скипетром России, которое дано в том же «Кавказе»:

От молдаванина до финна
На всех языках все молчат:
Все благоденствуют!

(Перев. П. Антокольского)

В подлиннике это еще сильнее: «Всё молчит, потому что благоденствует».

Дальнейшее развитие революционного сознания идет у Шевченко не по линии заключительных стихов «Послания», а по линии пламенно-бунтарского «Кавказа».

В творчестве, в мировоззрении Шевченко все крепче и крепче утверждалась мысль о *социальных* причинах человеческих страданий, которую он четко выразил в стихотворении 1849 года «Якби тобі довелось» («Если бы тебе досталось»):

Покуда баре
Власть имеют в селах,
Будет много собираться
Покрыток веселых
По шиночкам с солдатами...

(Перев. Д. Бродского)

Отмечу попутно контрастное, ироническое сочетание — «покрытки веселые». «Покрытка» — девушка, родившая внебрачного ребенка и за это преданная общественному гонению, — один из центральных, как мы знаем, образов Шевченко, и один из самых трагических. Эпитет «веселые», примененный к этому понятию, полон чисто шевченковской горечи. Надо сказать, что уже в первой поэме Шевченко, посвященной этой теме, в «Катерине», ясно выступает социальный мотив: ее обольститель не простой солдат («москаль»), а офицер. Но стреми-

тельное углубление классового самосознания у Шевченко, кристаллизация его, особенно четко определившаяся в годы ссылки и после нее, не подлежат сомнению.

В нашем шевченковедении нередко можно встретить утверждения, будто Шевченко всю жизнь, чуть ли не с пеленок, был убежденным материалистом и атеистом. Я полагаю, что это слишком прямолинейно. Детские годы Тараса Григорьевича прошли в семье, где отец поэта читал по праздникам «Минеи», то есть «Четьи-Минеи», жизнеописания святых (об этом — в эпилоге к «Гайдамакам»). Учился маленький Тарас по церковным книгам. Библия и, в частности, ее Новый завет были с юных лет хорошо знакомы Шевченко, в зрелые годы он не раз брал из них эпитафии. Речь о том, как использовал Шевченко библейские евангельские образы, будет у нас дальше. Но не мешает вспомнить, какую роль сыграли христианское учение и особенно христианская мифология во всей мировой литературе, во всем мировом искусстве. Не мешает вспомнить, что величайшие русские писатели Толстой и Достоевский строили свое философски-моральное учение по Евангелию, которое, правда, они совсем по-разному понимали. Вряд ли Шевченко в своем пути к неверию прошел сквозь такое же «горнило сомнений», как Достоевский в своем пути к вере. Но и его путь не был так ровен и

гладок, как это иногда хотят нам представить. Следует при этом помнить, что революционное, материалистическое, атеистическое мировоззрение Шевченко укрепилось и утвердилось в общении его и связях с деятелями русского и польского освободительного движения. Это, повторяю, особенно сказалось в последние годы жизни поэта.

В не раз уже цитированном «Кавказе» Шевченко обращается к богу:

Не нам на прю з тобою стати!
Не нам діла твої судить!

Но дальше — цитирую в переводе П. Антокольского:

Кат издевается над нами.
А правде — спать и пьяной быть.
Так когда ж она проснется?
И когда ты ляжешь
Опочить, усталый боже,
Жить нам дашь когда же?

Здесь уже слышатся первые раскаты гневного, прометеевского спора с богом, спора, который скоро загремит во всю силу и напомнит нам «бунт» Ивана Карамазова и импровизацию мицкевичевского Конрада. Однако следующие строки звучат так:

Верим мы творящей силе
Господа-владыки.
Встанет правда, встанет воля,
И тебя, великий,
Будут славить все народы
Вовеки и веки...

В поэме «Сон», написанной за год до «Кавказа», поэт решительно заявил:

Бога в мире нету!
(Перев. П. Карабана)

Но дальше — неожиданно:

Жива правда
У господ бога!

А еще дальше — гневный вопль:

Видит ли бог из-за тучи
Наши слезы, горе?

Мы видим — вопрос об атеизме Шевченко, с которым он будто бы родился, обстоит гораздо сложнее, как неизмеримо сложнее и все творчество Шевченко, чем это кажется некоторым упрощителям, которые руководствуются, конечно, самыми благими намерениями.

Полное и безоговорочное утверждение атеизма видим мы у Шевченко в уже вполне зрелые его годы. Ярче всего выражено оно в поэме (или отрывке из поэмы) «Юродивый»:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых?
Как истязали, распинали
И вешали?! А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?! Око, око!
Не очень видишь ты глубоко!
Ты спишь в ките...

(Перев. А. Суркова)

Здесь уже, неоспоримо, не может быть и речи о какой бы то ни было вере в личного бога или даже об элементах этой веры.

Слова «ты спишь в киоте» подчеркивают ту ненависть Шевченко к церковщине, к официальной религии, которая пронизывает ряд его произведений и пламеннейшим проявлением которой было созданное Шевченко в предпоследний год жизни стихотворение «Світе ясний! Світе тихий!..», где поэт, отталкиваясь от православной молитвы «Свете тихий» и как бы обращаясь к образу Христа, который для него в данном случае символизирует высочайшие идеалы человечества, предсказывает:

На онучи будем, милый,
Раздирать покров постылый,
Мы прикурим от кадила,
В печь иконы бросим смело.
Подметать же будем, милый,
В новых горницах кропилом.

(Перев. С. Вышеславцевой)

Если в ранних произведениях Шевченко можно видеть отзвуки веры в личного бога, «верховное существо», с которым, однако, не замедлил поэт вступить в ожесточенные споры («стати на прю»), то слово *бог* впоследствии он стал употреблять просто как символ правды, истины, справедливости, добра, грядущей гармонии.

Однако самые смелые, самые дерзновенные, революционные свои мысли, чувства и

мечты Шевченко очень часто облакал в библейские — по образам, и церковнославянские — по языку — ризы.

Ясным и страстным революционным призывом звучит окончание шевченковского переложения псалма 149, в котором поэт пророчествует, что люди с «обоюдоострыми мечами»

Окують царей неситих
В залізнеі пута,
І їх, славних, оковами
Ручними окрутять,
І осудять губителєй
Судом своїм правим,
І вовіки стане слава,
Преподобним слава¹.

Эти стихи датированы 1845 годом. А в 1859 году, в стихотворении, озаглавленном «Осії. Глава XIV», но начинающемся совсем неожиданным для библейского пророка восклицанием — «Погибнеш, згибнеш, Україно», читаем яростные строки о «властителях и судиях»², обращенные к родине:

Воскресни, мать! В светлицу-хату
Вернись скорей и опочий.
Устала ты, неся расплату

¹ Закуют царей алчных // В железные путы,
// И их, прославленных, оковами // Ручными скрутят,
// И осудят грабителей // Судом своим правым.
// И вовеки будет слава, // Преподобным слава.

² Выражение Державина, переложившего, как впоследствии Шевченко, 81 псалом и озаглавившего его «К властителям и судиям».

За сыновей,— так отдохни
И чадам, отдохнув, скажи,
Пророчь лукавым о возмездье,
Что, злые, пропадут они,
Что их измена, и бесчестье,
И криводушие — огнем,
Кровавым пламенным мечом
Отмечены на душах тайно,
Что кара кличет неустанно,
Что не спасет их добрый царь,
Их кроткий пьяный государь.
Не даст наесться им, напиться,
Не даст коня вам, чтобы скрыться,
Чтоб ускакать; не ускакать,
Не скрыться вам! Ведь вас повсюду
Отыщет правда-месть, а люди
Подстерегут, чтобы поймать.
Поймают и судить не будут:
Сковав, в оковах, не на суд —
На поруганье поведут
И на кресте потом, без ката
И без царя вас, бесноватых,
Распнут, на части разорвут
И кровью вашей, собаки,
Собак напоят!

(Перев. М. Зенкевича)

Еще определеннее, в приемах шевченковской контрастной иронии, выражено это чаяние справедливого возмездия в стихотворении 1860 года «Хоча лежачего й не б'ють»:

... люди тихо
Без всякого лихого лиха
Царя на плаху поведут.

(Перев. А. Суркова)

Во всех этих бунтарских, революционных высказываниях Шевченко совершенно единодушен с Добролюбовым, с Чернышевским, духовное сближение поэта с которыми в последние годы его жизни раздражало его товарищей по Кирилло-Мефодиевскому братству, в первую очередь — П. Кулиша. Впрочем, идейное расхождение Шевченко с Кулишом, с Костомаровым началось значительно раньше. Единомышленником их в полном смысле слова не был Тарас Григорьевич, конечно, никогда. В 1858 году написал Шевченко стихотворение, в котором есть такие часто цитируемые строки:

Доброго не жди —
Напрасно воли поджидаем:
Придавленная Николаем,
Заснула. Чтобы разбудить
Беднягу, надо поскорее
Обух всем миром закалить
Да наточить топор острее
И вот тогда уже будить.

(Перев. Н. Ушакова)

Были попытки поставить эти строки в зависимость от «Письма из провинции», появившегося в «Колоколе» 1860 года за подписью «Русский Человек» и написанного Чернышевским или кем-либо из его единомышленников, где звучат знаменитые слова: «К топору зовите Русь!» Эти попытки несостоятельны, поскольку стихотворение Шевченко написано гораздо раньше, чем

«Письмо». «Топор» — это был излюбленный революционерами того времени символ народного восстания.

Шевченко не только верил в светлое обновление человечества, он был в нем твердо уверен. Грядущее рисовалось поэту как царство социальной гармонии:

... на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі¹.

Прекрасный и светлый мир, которого чаёт и за который борется измученное человечество, воцарится на земле. Об этом говорит Шевченко в таких поистине пророческих образах:

Оживут озера, степи
И не столбовые,
А широкие, как воля,
Дороги святые
Опяшут мир; не сыщут
Тех дорог владыка;
Но рабы на тех дорогах
Без шума и крика
Братски встретятся друг с другом
В радости веселой,—
И пустыней завладеют
Веселые села.

(Перев. П. Антокольского)

¹ ... на обновленной земле // Врага не будет, супостата, // А будет сын и будет мать // И будут люди на земле..

Шевченко с глубоким уважением относился к своим предшественникам в украинской литературе — философу и поэту Григорию Сковороде, поэту и драматургу Ивану Котляревскому, прозаику Григорию Квитке-Основьяненко. Иногда, как в послании к Основьяненко, он склонен был даже преувеличивать значение этих предшественников, приписывая им (в данном случае Основьяненко) те черты, которые характерны для него самого, ту роль, которую суждено было сыграть в литературе и общественности Украины ему, Шевченко.

Надо, впрочем, заметить, что в зрелые годы поэт более сдержанно и критически высказывался о Сковороде, а особенно о Котляревском и Квитке, подчеркивая ограниченность либерального мировоззрения двух последних.

На заре своей деятельности, в 1838 году написал Шевченко стихотворение «На вічну пам'ять Котляревському» («Вечной памяти Котляревского»), в котором есть такие строки:

Все тоскует. Только слава
Солнцем засияла.
Жив кобзарь — его навеки
Слава увенчала.
Будешь ты владеть сердцами,

Пока живы люди,
Пока солнце не померкнет,
Тебя не забудем!

(Перев. А. Тарковского)

Здесь Шевченко называет основоположника новой украинской литературы, Котляревского, заветным именем — *кобзарь*. Это слово, как мы знаем, было названием первого стихотворного сборника Шевченко и распространилось на все его стиховое творчество. Слово это применяем мы и к самому Шевченко. Образ кобзаря для него — образ поэта, народного поэта, выразителя воли народной и народного идеала. Назвав так Ивана Котляревского, Шевченко, несомненно, хотел подчеркнуть огромное значение для Украины автора «Перелицованной Энеиды» и «Наталки Полтавки».

Мы признаем это значение, мы отдаем должное поэтической прелести и гуманной, демократической направленности творений Котляревского, мы ценим весьма значительную для своего времени прозу Квитки, писателя, одним из первых в Европе обратившегося к тематике из народной жизни, мы не сбрасываем со счетов того, что дали развитию украинской литературы П. Гулак-Артемовский, Е. Гребенка, Л. Боровиковский. Но все-таки *кобзарем* своим в полном и прекрасном значении этого слова, основоположником новой украинской литературы, первым в ней поэтом-революционером мы

по справедливости считаем Тараса Шевченко. И к нему обращаем мы эти вещи его слова:

Будешь ты владеть сердцами,
Пока живут люди;
Пока солнце не померкнет,
Тебя не забудем.

Высокое признание нашел Шевченко, как поэт и общественный деятель, уже у современников своих — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова. Имя его с глубочайшим уважением произносили Лев Толстой, Плеханов, Горький, Луначарский, все украинские писатели демократического направления, среди которых Ивана Франко можно назвать самым крупным шевченковедом дореволюционного времени. Шевченко снискал себе всенародное признание и всенародную любовь. Однако вопрос о мировом значении Шевченко только в последние годы поставлен с надлежащей глубиной и силой.

А. И. Белецкий в своем докладе «Мировое значение творчества Шевченко», упомянув, что о Шевченко еще в XIX столетии с восторгом отзывались англичанин Морфил, назвавший нашего поэта «одним из тех детей солнца, у которых кровь является огнем», шведский критик Альфред Иенсен, француз Дюран и другие, справедливо замечает:

«Мировая слава Шевченко и мировое

значение шевченковской поэзии — это не тождественные понятия»¹.

Промежуток между столетием со дня кончины Шевченко (1961) и столятием со дня его рождения (1964) отмечен пристальным вниманием к творчеству великого Кобзаря в зарубежных литературах, переводами его на различные языки зарубежных народов, большими исследовательскими работами не только на Украине, в РСФСР, в Белоруссии и других республиках Советского Союза, но и в Польше, Болгарии, Чехословакии, Югославии, во всех странах Запада и Востока. Шевченко полноправно входит в бессмертную семью великих поэтов мира. Гордость украинского народа, он становится гордостью человечества.

¹ «Збірник праць юбілейної десятої наукової шевченківської конференції», Київ, 1962, стр. 14.

**Максим Фаддеевич
Рыльский**
«КОБЗАРЬ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Редактор Ф. Иванова
Художественный редактор Г. Андропова
Технический редактор З. Евдокимова
Корректор М. Муромцева

Сдано в набор 9/XII 1963 г.
Подписано в печать 30/I 1964 г.
Бумага 70×90¹/₃₂. 2,5 печ. л. 2,92 усл.
печ. л. 2,64 уч.-изд. л. Тираж 20 000.
Заказ 3-555. Цена 11 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Книжная ф-ка им. Фрунзе
Главполиграфиздата Министерства
культуры УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8

11 коп.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

- С. Бочаров, Роман
Л. Толстого «Война
и мир»**
- Г. Бялый, Роман Тур-
генева «Отцы и де-
ти»**
- Б. Костелянец, «Пе-
дагогическая поэма»
А. Макаренко**
- Г. Макогоненко,
Роман Пушкина «Ев-
гений Онегин»**
- Е. Старикова, «Рус-
ский лес» Леонида
Леонова**
- А. Федоров, Язык и
стиль художествен-
ного произведения.**